Подається російською мовою

Андрей Платонович ПЛАТОНОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Рассказ

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было — не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже

переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно, сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.

Теперь эта женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца, по крайней мере в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали "Маша — дочь пространщика", потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен отсюда увезти домой и Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой, гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли "просторной Машей" за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь, и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии, ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость — и тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

— Я чуть-чуть, — сказал Иванов, — а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

— Только поэтому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванову.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять, кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет, серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином — теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу.

— Я осторожно, я поверхностно, Маша... Вообразите, что я вам дядя.

— Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

— Вон как... Так вы позволите?

— Отцы у дочерей не спрашивают, — засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отошедши от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, может быть потому, что хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ и сказала:

— Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете... Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.

— Дорогая моя Маша... Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?

— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было...

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть: ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба. Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. — Знать, отец.

— Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич.

— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали.

— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало вещей — одна сумка?

— Мне больше не нужно.

— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын.

— Тому тяжело, — согласился отец. — С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.

— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.

Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась — не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем, у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился, как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами: обождав немного, он сказал:

— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.

— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку: стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же, как и четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было запаха родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней...

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо и как надо делать правильно. Настя покорно

слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

— Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна...

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.

— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка. Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копаться, стахановка!

— Сейчас, Петруша, я сейчас, — послушно говорила мать. — Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

— Он ел его, — сказал Петрушка. — Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят... Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому, ишь во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли... А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко — зачем ты мясо с картошки стругаешь:

от этого у нас питание пропадает... Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!

— Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь, — кротко произнесла мать. — Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить, и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть... К нам отец приехал, а ты все серчаешь!

— Я не серчаю, я по делу... Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите... У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало?.. Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали... Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

— Люба, — спросил Иванов жену, — ты что же мне ничего не говоришь как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?..

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

— Ничего, Алеша... Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их... Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном работаю, на прессу, ходить туда далеко...

— Где работаешь? — не понял Иванов.

— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни... Видишь, какие выросли? Сами все умеют делать, как взрослые стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...

— Там видно будет, Люба... Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо...

— При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю — что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить...

Иванов встал и прошелся по горнице.

— Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие...

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ее головку.

— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну...

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

— Ты что, Настенька моя?

— А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

— Чего вы все?.. Настроеньем заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст? По старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось — поленьев десять, и то одна осина... Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар по поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со

стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему, как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

— Что ж ты, Петр, — обратился к нему отец, — крошки ешь, а свой кусок пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

— Поесть все можно, — нахмурившись, произнес Петрушка, — а мне хватит.

— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, — простосердечно сказала Любовь Васильевна, — а ему жалко.

— А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

— А ты что плохо кушаешь? — спросил отец у маленькой Насти. — Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой...

— Я выросла большая, — сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

— Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать. — Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

— Не хочу, я сытая стала...

— Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?

— А дядя Семен придет. Это я оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет...

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

— А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

— Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

— Как играть? — удивился Иванов. — Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папироску.

— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? — спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

— Они книжки-игрушки, — сказала Настя отцу, — дядя Семен мне вслух их читает, вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет...

Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв вьюшку, он сказал отцу:

— Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет...

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

— Чтой-то облака, — проговорил Петрушка, — свинцовые плывут, из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима станет? Ведь что ж

тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету... Ишь положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене, — но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя! А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал пол возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами:

— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом есть, — указал всем Петрушка. — А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.

— Я схожу, — покорно согласился отец.

— Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.

— Нет, я не забуду, — пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

— Как у вас, Люба, с одеждой — наверно, пообносились?

— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, — улыбнулась Любовь Васильевна. — Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать.

— Правильно сделала, — сказал Иванов, — детям ничего не жалей.

— Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.

— Ватник у нее короткий, она ходит — простудиться может, — высказался Петрушка. — Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил приценялся, есть подходящие...

— Без тебя, без твоей получки обойдемся, — сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, уже холодно стало, осень во дворе. Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:

— Ты чего балуешься, зачем очки дяди Семена одела?..

— А я через очки гляжу, а не в них.

— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки — забыла уж, когда занималась!

— А Настя что — учится? — спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету; складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежащая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глаза, а Петрушка захрапел на печке.

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит — пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью

отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро — он не знал, а отец с матерью не спали.

— Алеша, ты не шуми, дети проснутся, — тихо говорила мать. — Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...

— Не нужно нам его любви, — сказал отец. — Я сам люблю своих детей... Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала, — зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще... Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила...

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

— Что ты, Алеша, что ты говоришь! — громко воскликнула мать. — Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные...

— Ну и что же!.. — говорил отец. — У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. "Ладно, — подумал он, — пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах".

— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать. А от грамоты он тоже не отстанет.

— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, серчал отец.

— Он добрый человек.

— Ты его любишь, что ль?

— Алеша, я мать двоих детей...

— Ну дальше! Отвечай прямо!

— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобой только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

— Я по тебе скучала, Алеша... Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.

— А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я не знаю... А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Неважно, он взамен другую, готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша, — заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы. — Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спрашивали у него: а почему? — а он отвечал им, потому что ты добрый...

Отец засмеялся и выбил жар из трубки.

— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей. И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться?.. Ты скажи, что ему надо было?

— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, поэтому он такой. А почему же?

— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.

— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь...

— Все это чепуха какая-то! — сказал отец. — Не задуривай ты меня... Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.

— Живи с нами, Алеша...

— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?

— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.

— А вы какие? — с обидой спросила мать. — Что значит — все мы такие? Я не такая... Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет... Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь, Петрушка тоже мальчиком был... И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. "Можно, — спрашивает меня, — я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?" Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: "Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно". Я сказала — ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам было лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас... Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!

— Ну дальше, дальше что? — поторопил отец.

— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

— Ну что ж, хорошо, если так, — сказал отец. — Пора спать.

Но мать попросила отца:

— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

"Никак не угомонятся, — думал Петрушка на печи, — помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то".

— А этот Семен любил тебя? — спросил отец.

— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка. Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:

— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась, по-доброму произнес отец...

— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?

— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

— А он на меня тоже похож?

— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.

— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.

— Это все равно — куда.

— Нет, не все равно, Алеша... Что ты понимаешь в нашей жизни?

— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя...

— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.

Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.

— И я не стерпела жизни и тоски по тебе, — говорила мать. — А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети... Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно...

— Это кто, опять Семен-Евсей этот? — спросил отец.

— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный...

— Ну черт с ним, что он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. "Ишь ты, а мать наша тоже бедовая", — прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? спросил отец.

— Один только раз, — сказала мать. — Больше никогда не было. А сколько нужно?

— Сколько хочешь, дело твое, — произнес отец. — Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно...

— Это правда, Алеша...

— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей не пожалею!..

— Обожди! — сказал отец. — Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась?

— Я не пропала, — прошептала мать, — я живу.

— Значит, и тут ты мне врешь. Где же твоя правда?

— Не знаю, — шептала мать. — Я мало чего знаю.

— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты, — проговорил отец. — Стерва ты, и больше ничего.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома, — сказал он. — Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.

— Четыре часа, — сказал он сам себе. — Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

— Алеша! — добрым голосом сказала мать. — Алеша, прости меня.

Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. "Он стекло у лампы раздавил, — догадался Петрушка, — стекол нету нигде".

— Ты руку себе порезал, — сказала мать. — У тебя кровь течет, возьми полотенце в комоде.

— Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу... Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась:

— Мама! — позвала она. — Можно, я к тебе?

Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.

Петрушка сел на печи, опустил ноги вниз и сказал всем:

— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, — ответила мать. — И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петрушка.

— А тебе какое дело — чего мне надо! — отозвался отец. — Ишь ты, сержант какой!

— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, масло Настьке отдает.

— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

— Я знаю, я все знаю! — говорил Петрушка. — Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток.

— Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.

— Большую волю дома взял, — сказал отец. — Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина...

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был... Вон пойди завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он все говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают...

— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет, — сказала мать.

— А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: "Чего у тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя, Нюшка, была, и еще надобавок Магдалинка была". А сам смеется, и тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон еще хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: "Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было, и Магдалинки надобавок не было, солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал..." Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла...

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. "Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас..."

Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по правде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

— Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место! — сказал Петрушка сестре. — Где мать-то, на работу ушла?

— На работу, — тихо ответила Настя и закрыла книгу.

— А отец куда делся? — Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате. — Он взял свой мешок?

— Он взял свой мешок, — сказала Настя.

— А что он тебе говорил?

— Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.

— Так-так, — сказал Петрушка и задумался. — Вставай с пола, — велел он сестре, — дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем...

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой

волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немножко обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно: значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. "Вот Маша не ожидает меня, — думал Иванов. — Она мне говорила, что я все равно забуду ее и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда".

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети: не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, упавшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой, к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

1946